Даю уроки / отрывок из романа

Category: Kitapcy,Romanlar
написано kitapcy | 22 января, 2025
Даю уроки / отрывок из романа ДАЮ УРОКИ

1.

Не верилось, что все, что происходит, происходит с ним. Человек, не обученный падать, падает всегда неловко, что-то там непременно ушибая в себе. Обученный падать падает легко и просто. И глядеть легко, как он шариком катится. Упал, вскочил – и все дела. Но сколько нужно науки, чтобы суметь стать шариком, чтобы, падая, суметь покатиться. Он не прошел этой науки. Его тренировали, чтобы крепко стоял на ногах, а никак не падал. Его тренировали, натаскивали на успех, а не на неудачу, ведь падение – неудача. Ошибка: надо тренировать на неудачу. На боль. На отчаяние. На утрату. Нет, на утраты. Господи, как умен этот затасканный призыв: хочешь мира, готовься к войне! Хочешь счастья, не беги от горя. Да таких быстроногих бегунов и нету, которые могли бы убежать от горя. Оно каждому дано. Когда-никогда, нагрянет. И тогда…
И все же не верилось, что все, что происходит, это с ним происходит.
ТУ-154, вполне солидный самолет, летающий и за границу, могущий потягаться и со всякими там «боингами», – он знал людей, европейцев, штатников, которые предпочитали ИЛ-62 и этот вот ТУ американскому «боингу», заносчивость которого их раздражала. Он и сам не любил заносчивых самолетов, отлетав на разных и порядочно много, поняв, что перед богом в небе глупо нос задирать. Так вот, этот самый ТУ-154, славный и плавный, принес его и высадил на эту самую землю, и лишь только высадил, как выяснилось, что тут пекло, просто пекло, что тут нечем дышать. Жить тут? Да тут дышать нечем! Дышать!
Между тем аэродромный автобус, сразу же заполнившийся потными телами, покатил к недалекому зданию аэропорта, на флагштоке которого безжизненно повис аэрофлотский вымпел, выцветший от

яростного солнца, исхлестанный, как боевое знамя, налетающим из близкой пустыни жестоким песком. Да, да, совсем рядом была пустыня. Не шуточная, Каракумы, а это в переводе означает Черные пески. Вот он куда попал! К черным пескам прикатил. Точнее сказать, докатился до оных. Но был ведь и у Сахары. Был и в знойном Египте. Изнывал от жары в Кувейте. То все иное, тогда было все иным. Настолько иным, что боль терзала мозг, когда позволял себе вспомнить что-либо из недавних тех дней. Из недавних! Боль взорвалась в нем. Он запретил себе вспоминать. Чуть только начинал, как боль, просто боль, будто кто ударил по вискам, по глазам, обрушивалась на него, как обрушивается на свою жертву заступивший черту каратист. Как отбиться, укрыться, отгородиться от этих жестоких, коварных, внезапных ударов? Он научился вроде бы. Научился ввергать себя в безмыслие. Вот так вот, движется, что-то делает, а мыслей нет. О чем-то даже думает, а о чем – не понять. Нет мыслей. Сжался, отбился. И сейчас, в автобусе, притиснутый потной, рыхлотелой женщиной к стенке, – так жарко ей было, что уж и не чувствовала, что вжалась в мужчину, – он отбился, запамятовал. Боль отвалила. Взмок весь. И женщина все более взмокала. Их пот смешался. Он сказал ей, улыбнувшись, примерив к губам самую свою расчудесную улыбку, а он был мастером улыбаться, обучен был и природой наделен, он сказал ей, выползая из отчаяния к озорству, что ли:

– Будто полюбили друг друга…

– Что? – Она не поняла его. Из-под губы с усиками мелькнули траченые золотые коронки. Но тотчас и поняла и рассердилась: – Зачем сам прижимаешься?!

Они попытались разъединиться. Где там! Автобус утрясал их на бетонных швах, зной изнурял миг за мигом все больше.

– У вас тут всегда так? – спросил он, стараясь удержать в губах улыбку, но, наверное, жалкой она была, вымученной.

– Случается и пожарче. – Бывалой она была, эта толстая женщина, сверкнули чертенята в ее глазах, в черноту ли, в сизину, еще молодых. – В командировку к нам?

– Насовсем.

Сказал и обмер: а ведь это так, он насовсем сюда. Насовсем!

— Не горюй. У нас тут хорошо.
— Я уже понял.
— Ничего ты не понял. Зачем так улыбаешься, будто плакать собрался? Женат? Если нет, повезло тебе. У нас тут невесты замечательные. Женись на армянке, советую. Нет лучше жены, чем армянка. Еще живут устои. Между прочим, я сама армянка.
— А я думал, туркменка.
— Думал! Смотри, все туркменки пешком идут от самолета. Их мужья и братья им головы оторвут, если увидят в такой тесноте с незнакомыми мужчинами.
— Еще живут устои? Кстати, и в Кувейте тоже. Там и лица у женщин закрыты.
— Было и у нас. На базаре и сейчас можно встретить. Разбежались?
Автобус остановился, двери расползлись. В зное этом, оказывается, жил все же свежий ветерок, и он сейчас пробежал по взмокшим лицам.
А тут было все как у людей. Вполне внушительное здание аэропорта открылось глазам. Стекло, стекло — и здесь стекло, хотя здесь бы, чтобы хоть как-то укрыться от солнца, каирские, кувейтские, алжирские нужны бы были стены, эти стены-ниши, средневековый ужим окон, когда кажется, что здание прищурилось на солнце, рукой-козырьком прикрыв лицо. Нет, тут было стекло, стекло, будто поплавившееся, в ажурных разводах. Немудрено и поплавиться. Оказывается, и еще может быть жарче, обманул ветерок. Но в жаре этой, в зное, в пекле жил какой-то особенный воздух. Вокруг на клумбах много было усыхающих роз — нет, не от них, не розовой квелой сладостью он был пропитан. Асфальт истаивал — от него этот дух? Нет, воздух пах не асфальтом. Догадался: воздух пах пустыней. Горьковатый, строгий, завлекающий дух пустыни, тех самых Черных песков, витал тут. Серьезное местечко, когда так пахнет воздух. Посреди океана, в Атлантике, где громадный пароход кажется шелушинкой, когда выйдешь на палубу, на нос корабля, когда ветер не сильный, вдруг услышишь ты, учуешь этот запах громадного тела, этот звериный запах океана — тоже строгий, даже грозный и тоже завлекающий. Что — человек? Песчинка,

затерявшаяся в океане, или вот – на самом краю великой пустыни. Зачем, человек, тебя все носит и носит, вот сюда занесло – в эти нешуточные места? А потому и занесло, что ты – песчинка.

За загородкой, в толпе встречающих, он сразу углядел своего институтского дружка, самого у них на курсе добрейшего из добрых, которому все всегда поверяли свои беды, к которому и сейчас обратился, ища помощи. И тот помог. Нашел тут работу, да, тут, на краю пустыни, в этом зное, а все же работу, вызвал телеграммой, в которой было столько слов, что показалось, есть в нем нужда, и вот встречает, не одну, а обе руки воздев к небу. Друг единственный, как оказалось. Столько их было, не счесть было институтских друзей, а выходит, один остался. Все прочие – где они? Боль, боль, опять эта боль, пострашнее этого пекла. Сжался, кинулся навстречу другу. И тот уже бежал навстречу. Обнялись, обжигаясь друг о друга.

– Ростик, ты?! Едва узнал! Идет в толпе молодой Джеймс Бонд! Словом, элита!

– Я, я это, Захар. Спасибо, что встретил.

– Да ты что?!

– Спасибо, спасибо.

– Да ты что?! Я просто весь пою от счастья. Ростик Знаменский прибыл в наши Палестины! Сам Ростислав Юрьевич Знаменский! Краса и гордость… Эталон обаяния…

– Все в прошлом, как ты знаешь.

– А вот и нет! Турнули? Кабы не был виноват, тогда бы действительно было обидно. А ведь виноват?

– Виноват.

– Ну, а тогда действуй по законам цирка.

– Как это?

– А как канатоходец. Сорвался, повис – лезь опять. Номер надо повторить, арену нельзя покидать неудачником.

– Эх ты, цирковых дел мастер. Милый ты человек, Захар, легко с тобой. Но чего это ты тройку натянул? Ведь испечешься. Ради меня?

– Ради протокола. Забыл, что я дипломат? Учти, по сути, в ранге заместителя министра иностранных дел республики.

— И такая персона меня встречает! Меня, человека, по сути, в ранге нуля.
— В ранге друга, сэр.
Они встретились в толпе, но теперь толпа сместилась к круглому навесу, куда должны были привезти чемоданы, их еще долго надо будет дожидаться, томясь в этой жаре, но эта жара и потом никуда не денется, она будет и в машине, она будет и в гостинице, она не уйдет и вечером, не исчезнет и ночью. Не повернуть ли назад? Как это его угораздило согласиться на работу в таком пекле? Выбора не было, дружок, выбора не было. Теперь часто ты будешь принимать решения не потому, что так вот решил, а потому, что выбора у тебя иного нет, иного нет выбора. Но здесь — Захар. Друг, славный малый. Он и позвал, договорился с кем надо, организовал вызов. А выбора не было, выбора не было.
— Пошли к машине, — сказал Захар. — Водителю отдадим твой жетон, и он вмиг притащит чемоданы, вон их уже везут. Давай жетон. О, ты не знаешь еще, что у меня за водитель! Джигит! Озорник! Кудесник по части что достать!
— Туркмен?
— Почему? Алексей. Русский паренек. Ярославский, кажется. Здесь у нас кого только нет, всех городов и весей посланцы. От своего зачина так складывался город. Российские, закавказские, заднепровские, уральские невезуны сбегались. Армяне сюда бежали через Каспий от спровоцированной резни, и тогда же, при царизме, сюда, между прочим, ссылали проштрафившихся армейских офицеров. Пестрое сообщество. Но знаешь, когда ударило горько знаменитое землетрясение сорок восьмого года, убившее половину населения и все тут дома и домишки, а знаешь, ведь не дрогнули здешние жители, не побежали, подняли свой город. И не только туркмены, которым земля эта Родина, но все, все невезуны, бегуны, перекати-поле. Все! Я уважаю, знаешь ли, местное население. Особый характер у народа. Как-никак, а землица-то под ногами, что ни год, в дрожь кидается. Ну, пока не велика эта дрожь. Пока. А вдруг да лихорадка начнется, очередной припадок? Уважаю я здешний народ. Смелые люди!
— С неба огонь, земля сотрясается — славное местечко.

— Но зато — смелые люди.
— Да, вот и я сюда прибежал.
— Не о тебе речь. Я и не подумал. Ты из другого теста, — засуетился Захар, длинный, нескладный, в наряднейшей, иностранного происхождения светлой тройке. А все равно, как ни наряжайся, а крестьянская родовая широкая кость из любого кроя свой крой покажет. Он был крепко скроен, наш Захар, русоволос, простодушен, простецкий совсем парень, хоть и в ранге чуть ли не заместителя министра иностранных дел. И только глаза, небольшие, тоже крестьянские, — из глубины синева, — только глаза у него светили каким-то таким сильным светом, когда и ум в человеке угадываешь, и надежность угадываешь, а надежность в человеке всего дороже.
Алексей, бойкий, веселый, усмешливый, в черноту загоревший, с глазками в таком прищуре, что не углядеть было, что там в них, — вмиг добыл чемодан Знаменского, притащил, явно гордясь, что они такие заграничные, такие кругосветные.
— А чемоданчики-то, Захар Васильевич! А! Не верил вам, когда рассказывали, а теперь поверил. Знавали небось и «мерседесы», и «шевроле» с «люкс-фордами» в придачу. Заметили, никаких наклеек? Нынче не носят. Кофр по коже, по шрамам на ней свой ранг показывает. И еще вот замки с цифровыми комбинациями. Дипломатические кофры!
Тараторя, укладывая чемоданы в багажник старенькой «Волги», Алексей зорко поглядывал из своих прищуров на Знаменского, устанавливая для себя и его собственный ранг. Ну, чемоданы что надо, а сам каков? А сам этот приезжий, из легенды, между прочим, товарищ, тоже был что надо. Тянул! И дело не в том, что одет во все заграничное. Нынче это не диво. В субботу, на толкучке, за час, если, конечно, повезет, можно раздобыть и эти штанята фирменные, и эту гонконговскую рубаху с погонами, которые, отстегни их, могут рукава держать. Удобная штука. Материальчик такой, что потей под ним сколько угодно, а пот не проступит. Ветерок чуть дунул, а тебе прохлада. Нет, этот тянул сам по себе, хотя и одежда тоже роль играла. Алексей сказал:
— Рубашечка у вас ну прямо для наших мест! В Гонконге брали?

— Какая осведомленность, — улыбнулся Знаменский широко, приязненно, выложился для этого малого, еще не зная, как всякий приезжий, кому как себя подавать, и уже не умея, — в растерянности жил, — оценивать человека с первого взгляда, даже полувзгляда, а умелость эта, наука эта им вроде бы была освоена, и давно. Все разлеталось, потери ощущались по всем линиям, он растерялся перед жизнью и знал, что растерялся. Стал путаться: не то говорить, не так себя вести. Вот улыбнулся этому бараночнику, будто королю Иордании. Господи, а он знал этого короля, седенького такого короля, веселостью и даже озорством не пускающего себя в старость. Господи, он знал его, был у него в гостях, в громадной машине с ним сидел, куда-то они ехали веселиться… Вспомнил и не поверил себе. Не было этого! Но все помнилось, вспомнилось. Сожженная зноем древняя земля, путь паломников трех религий, близкие горы, могучие деревья вдоль шоссе и улыбчивый, коротко стриженный, седенький мужчина в простейшей, распахнутой на седой груди рубашечке, но это — король, и то, что он король, понимаешь по одному всего перстню на безымянном пальце, по камушку в том перстне размером с голубиное яйцо. Вон дворец какого-то богача на склоне холма и вот этот камушек. Они в одной цене.

— Ты куда смотришь? — спросил Захар. Они уже ехали по шоссе от аэропорта в город, по изнемогшей от жара асфальтовой полосе, пролегшей извивами между домами-новостройками, в которых слепили, будто плавились, стекла. — Не смотри пока, вот въедем в город, на проспект Свободы, там тебе понравится.

— Не буду смотреть, — сказал Знаменский и поглядел на эти дома-коробки, на землю вокруг, такую же древнюю, как та, еще стоявшая в глазах.

— Не смотри, не смотри, сейчас грянет город.

— Уже успел влюбиться в свой Ашхабад?

— Знаешь, а в нем что-то есть. Привораживает. Многие так считают. Но, конечно, тебе, понаглядевшемуся…

— Мы товарищу покажем такие уголки, — оглянулся Алексей, сверкнув молниями прищуренных глазок, — что… А как вы насчет дам?

— Алексей! — строго одернул его Захар Васильевич, не шутя

рассердившись. — Ну бабник, спасения нет!
— Это точно, разные мы, — сказал Алексей. — А в общем-то, все мы бабники. Только один маскируется, тихарит, а другой — душа нараспашку.
— Ты на что намекаешь, это кто же тихарит? — Захар Васильевич даже покраснел от негодования.
— Не о вас речь, Захар Васильевич, начальство вне подозрений. Да вам, дипломатам, и нельзя.
— Что — нельзя? — спросил Знаменский.
— Все нельзя. Закованный народ. А чуть что, на коллегию.
— Это так, — и усмехнулся и погрустнел опять Знаменский. — Это уж точно.
— Дамы, дамы, погубят они нас, — сказал Алексей, старательно крутя баранку, обходил как раз пылящий и зловонный самосвал.
— Это уж точно! — повеселел Знаменский. Нравился ему этот парень. — Но, Алексей, об этом догадались еще задолго до вас.
— А мне какая разница, что кто-то догадался, главное, что я сам догадался. Но поздно. И наука не впрок. Третий раз развожусь.
— Вот такой он у нас, — сказал Захар Васильевич. — Ох, Алексей, займусь я тобой!
— А нас учи, не учи, а мы такие, какие есть. Характер — штука железная. Верно говорю, Ростислав Юрьевич?
— Железо гнется, утверждают.
— Не знаю. Я бы рад согнуться, а смотрю, и опять занесло. Куда, кричу, куда ты меня тащишь?! — это я характеру своему, а он знай себе тащит.
— И затаскивает в очередной шалман, — сказал Захар Васильевич. Погибнет, честное слово. Спасибо, хоть пьет только по выходным.
— А в другие дни водителю нельзя, — сказал Алексей.
— А как же характер? — спросил Знаменский.
— Так я же не пьяница, у меня в другом вопросе катастрофа.
— Ну, понял, ясно. Каждому свое.
— Именно!
А что, если вспомнить, про что они тогда говорили с простейшим и милейшим тем королем, — когда хотел, он был простейшим и

милейшим со своими гостями, демократичнейшим был, любил прикидываться, – так если вспомнить, то ведь такой же почти, как с Алексеем-шофером, шел у них тогда разговор. Про женщин, конечно же, и что от них вся морока, и что зарекайся не зарекайся…

– А вот теперь смотри! Город! – торжественно провозгласил Захар. Приехали! – И помолился: – Аллах, пусть будет счастлив сей путник в твоих земных чертогах!

Знаменский глянул. Прямая, широкая улица открылась глазам. Дома за разросшимися кронами карагачей были едва различимы, даль над асфальтом плыла в знойном мареве. Люди, их было мало в этот дневной час, шли по улице, держась поближе к стенам, выискивая тень погуще. Что за люди? Что за стенами этих домов? Он столько видел промельков таких улиц, в стольких успел побывать городах, что улицы и улочки давно слились для него в одну сплошную улицу, а города – большие, маленькие, громадные, – в один сплошной город. Но здесь, среди промелька этих стен и людей, ему предстояло жить, сюда его выбросило на берег.

– Да, приехали, – сказал Знаменский.

И верно, приехали. Машина подкатила к бетонному, в нишах и окнах, зданию, почти такому же, как там, и там, и там, – по всему миру, – на фронтоне которого значилось: Отель «Ашхабад». И рядышком, чтобы и иностранец все понял: «Hotel…»

Машина остановилась, и Алексей королевским жестом повел рукой:

– Прошу, джентльмены! Romanlar